

Глава VIII

Начало «Отечественных записок». – Граф Соллогуб и «История двух калош». – Лермонтов и его отношения к г. Краевскому. – Стихотворение Лермонтова: «Есть речи...». – Впечатление, произведенное на Лермонтова появлением его «Казначейши» в «Современнике» Плетнева. – Лермонтов после дуэли с Барантом. – Белинский в Ордонансгаузе у Лермонтова. – Ошибка г. Дудышкина. – Несколько слов о характере Лермонтова. – Приезд в Петербург Межевича и прием, сделанный ему г. Краевским. – Очерк Межевича. – Состояние литературы в конце тридцатых годов. – Отъезд мой в Москву. – Заключительное слово.

Первая книжка «Отечественных записок» произвела сильный эффект. «Отечественные записки» разделялись на 8 отделов: 1) Современная хроника России. 2) Науки (статьи сборные). 3) Изящная словесность. 4) Художества (этим отделом заведывал зять графа Ф. П. Толстого Каменский). 5) Домоводство, сельское хозяйство и промышленность вообще. 6) Критика. 7) Современная библиографическая хроника и 8) Смесь.

Статья критическая о «Фаусте» по поводу перевода Губера в No 1 «Отечественных записок» принадлежит И. К. Гебгардту. Следовавшие книжки нового журнала обратили также общее внимание.

«Отечественные записки» подняли шум в литературных кружках. И немудрено. В этих книжках явились: Лермонтов с своею «Бэлою» и несколькими стихотворениями, Кольцов с своими «Песнями», граф Соллогуб с своими «Калошами», князь Одоевский с «Княжною Зизи» и так далее.

«Отечественные записки» возобновились кстати. «Библиотека для чтения» начинала уже прискучивать публике повторением своих острот и шуточек; она оскорбляла многих своим глумлением над литературою; ее критический авторитет поколебался после возвеличения Кукольника, Тимофеева и некоторых других, после неблагоклонных отзывов о Гоголе и приятельского заигрыванья с Булгариным, после неприличных и неуместных выходок против передовых людей европейской науки... Большая часть известных русских литераторов начинала отзываться с неудовольствием о деспотическом обращении редактора «Библиотеки» с их произведениями, которые появлялись в журнале Сенковского в совершенно изуродованном виде, с сокращениями, переделками или прибавлениями самого редактора, навязывавшего авторам такие воззрения и мысли, которые они не могли разделять... Шутка в «Библиотеке» переходила все границы. Это была уже шутка для шутки, желание смешить публику во что бы то ни стало и на чей бы счет ни было. Она посягала на все и на всех без разбора и избличала в редакторе журнала полное отсутствие всяких серьезных убеждений, возбуждая уже не смех, а негодование...

Потребность нового журнала с направлением более дельным, который обнаруживал бы большее уважение к литераторам и публике, чувствовалась всеми – и в такую-то благоприятную минуту появился г. Краевский с своими «Отечественными записками».

Немудрено, что они встречены были симпатично и литераторами и публикою... Все замечательные литературные деятели охотно присоединились к ним. В возобновленных «Отечественных записках» допевали свои лебединые песни лучшие из наших беллетристов и блистательно начали свои дебюты молодые люди, только что выступавшие на литературное поприще.

Г. Краевский после смерти Пушкина добился-таки до того, что имя его появилось на обертке «Современника» рядом с именами друзей поэта – с Жуковским, Вяземским, Одоевским и Плетневым. Аристократическая литературная партия, прекратившая все сношения с Булгариным и Сенковским, протезировала г. Краевского и хотела сделать «Отечественные записки» своим органом. Г. Краевский заискивал в то же время в московских ученых и литераторах, пользовавшихся авторитетом, просил их советов, сотрудничества и рассыпался перед ними в комплиментах. Он невольно возбуждал к себе участие в ученых и литераторах своею скромностию, аккуратностию и благонамеренностию. С благородным ожесточением он

говорил о Булгарине, скорбел о падении Полевого, оскорблялся до глубины души шутовскими выходками Сенковского и твердил только о том, что необходим новый орган в журналистике, в котором бы сгруппировались все талантливые, серьезные, честные и благонамеренные ученые и литературные деятели. Он достиг этого. «Отечественные записки» были встречены приветливо всеми тогдашними литературными знаменитостями, московскими и петербургскими; вся талантливая молодежь с жаром принялась сотрудничать в них. Только Сенковский, Булгарин, Кукольник и их партия смотрели враждебно на новый журнал. Сенковский прикидывался, что он не знает даже о его существовании; Булгарин открыл свои походы против него, г. Краевского, придравшись к доуендаге (так было неудачно переведено в 1 No «Отечественных записок» слово *doyen d'age*). Походы эти упорно продолжались около пятнадцати лет и возобновлялись с особенным ожесточением осенью, при подписке, нисколько, разумеется, не вредя «Отечественным запискам», потому что число подписчиков их возрастало с каждым годом.

Г. Краевский, довольный своим успехом, упрочивший свои связи со всеми литературными знаменитостями, гордый враждою к нему Булгарина и Сенковского, ставший во главе журнала, принявшего литературно-аристократический оттенок, был очень доволен собою. Это самодовольство выражалось в нем тою серьезностью и самостоятельностью, тем строгим ученым видом, который он принял на себя и которого уже не оставлял потом.

В это время Белинский и его молодые друзья, участвовавшие в «Телескопе» и «Молве», начали издавать «Московский наблюдатель»... Г. Краевский никак не предвидел, что этим молодым горячим людям суждено будет играть замечательную роль в истории русской литературы, что имя Белинского делается историческим именем и что ему суждено будет поддержать и придать нравственную силу и значение «Отечественным запискам». Литературные авторитеты и знаменитости или не удостоивали замечать в то время Белинского, или отзывались о нем презрительно, как о вздорном и наглом крикуне, не имевшем ни *foi*, ни *loï* и осмеливавшемся нападать на бессмертные имена, на неприкосновенные доселе авторитеты. Сближаться с Белинским – значило компрометировать себя во мнении авторитетов, перед которыми усердно преклонялся г. Краевский... Но не из боязни компрометировать себя перед ними, а совершенно искренне и добродушно он презирал Белинского и его молодых друзей и клеймил их именем мальчишек-крикунов, считая неприличным для собственного достоинства связываться с ними.

Он сознавал, что для журнала необходим критик, что без дельной критики журнал не может существовать, что время литературных сборников прошло... Но откуда же взять критика? Эта мысль озабочивала его сильно. Он отверг мое предложение о Белинском; выбор его уже был сделан, он только хранил его в тайне.

Критический дебют «Отечественных записок» был неудачен; впрочем, статья под заглавием: «Русская литература в 1838 году» – плохая компиляция, без всякого взгляда, наполненная общими местами – скрылась за прекрасными стихотворениями и повестями, в особенности за «Историей двух калош» графа Соллогуба, которая и литературой и публикой принята была с восторгом. Имя Соллогуба, дебютировавшего в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» рассказом «Сережа», после «Истории двух калош» стало пользоваться громкою известностью и не в одних аристократических салонах, где читал ее автор... Повесть эта возбудила большую симпатию к автору во всех классах читающей публики и во всех литературных кружках. Белинский был от нее в восторге. – «Соллогуб своими „Калошами“ растрогал меня до слез», – говорил он мне впоследствии.

Ободренный блистательным успехом, Соллогуб с жаром принялся писать новую повесть и стал изредка появляться между литераторами, но он чувствовал себя не совсем ловко в этом новом для него обществе. Он разыгрывал между ними великосветского человека и как бы несколько женировался званием литератора.

Я замечаю это не в упрек графу Соллогубу. Это был недостаток общий всем тогдашним литераторам-аристократам, за исключением, как я уже говорил, Одоевского. Граф Соллогуб имел сначала непреодолимую склонность к литературе, но серьезному развитию этой

наклонности мешали его великосветские взгляды и привычки, и он потом уже занимался ею слегка, как дилетант...

Появление всякого нового замечательного таланта в русской литературе было праздником для Соллогуба. В Соллогубе не было ни малейшей тени той литературной зависти или того неприятного ощущения при чужом успехе, которые, к сожалению, нередко встречаются в очень талантливых артистах и литераторах... Он был увлечен «Бедными людьми» Достоевского и приставал ко всем нам: – «Да кто такой этот Достоевский? Бога ради покажите его, познакомьте меня с ним!» Он ходил, как помешанный, на другой день после прочтения комедии Островского «Свои люди – сочтемся», прокричал об этой комедии во всех салонах и устроил у себя вечер для чтения ее; но об этом вечере и вообще о литературных вечерах Соллогуба я буду говорить подробно во 2-й части моих «Воспоминаний».

Наклонность к так называемой великосветскости, которой были подвержены некоторые литературные деятели 20-х, 30-х и 40-х годов, действовала на них и на их произведения весьма неблагоприятно. Этой наклонности были подвержены даже такие могучие таланты, как Пушкин и Лермонтов.

Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора. Несмотря на сознание, что причиною гибели Пушкина была, между прочим, наклонность его к великосветскости (сознание это ясно выражено Лермонтовым в его заключительных стихах «На смерть Пушкина»), несмотря на то, что Лермонтову хотелось иногда бросать в светских людей железный стих,

Облитый горечью и злостью... –

он никак не мог отрешиться от светских предрассудков, и высший свет действовал на него обаятельно.

Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением «На смерть Пушкина»; но еще и до этого, когда он был в юнкерской школе, носились слухи об его замечательном поэтическом таланте – и его поэма «Демон» ходила уже по рукам в рукописи.

Литературная критика обратила на него внимание после появления его повести о купце Калашникове в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», издававшихся под редакцию г. Краевского.

Я в первый раз увидел Лермонтова на вечерах князя Одоевского.

Наружность Лермонтова была очень замечательна.

Он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом. Однажды он встретил у г. Краевского моего приятеля М. А. Языкова... Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда. Он и до сих пор не забыл его.

Я много слышал о Лермонтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он был любим очень немногими, только теми, с которыми был близок, но и с близкими людьми он не был общителен. У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, и, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его наконец из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен.

– Странно, – говорил мне один из его товарищей, – в сущности он был, если хотите, добрый малый: покутить, повеселиться – во всем этом он не отставал от товарищей; но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва, – без этого он не мог быть покоен, – и, выбрав ее, он уж беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его.

Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями. Я в первый раз увидел его у Одоевского и потом довольно часто встречался с ним у г. Краевского. Где и как он сошелся с г. Краевским, этого я не знаю; но он был с ним довольно короток и даже говорил ему ты.

Лермонтов обыкновенно заезжал к г. Краевскому по утрам (это было в первые годы «Отечественных записок», в 40 и 41 годах) и привозил ему свои новые стихотворения. Входя с шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры, в том алхимическом костюме, о котором я упоминал и покроей которого был снят им у Одоевского, – разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Г. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его склонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться; но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на ты, и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:

– Ну, полно, полно... перестань, братец, перестань. Экой школьник...

Г. Краевский ходил в такие минуты на гетевского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие.

Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Посещения его всегда были очень непродолжительны.

Заговорив о Лермонтове, я выскажу здесь кстати все, что помню об нем, и читатель, верно, простит меня за нарушение в рассказе моем хронологического порядка.

Раз утром Лермонтов приехал к г. Краевскому в то время, когда я был у него. Лермонтов привез ему свое стихотворение:

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно...
прочел его и спросил:
– Ну что, годится?..

– Еще бы! дивная вещь! – отвечал г. Краевский, – превосходно; но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность...

– Что такое? – спросил с беспокойством Лермонтов.

– Из пламя и света

Рожденное слово...

Это неправильно, не так, – возразил г. Краевский, – по-настоящему, по грамматике надо сказать из пламени и света...

– Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего, – ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности – и у Пушкина их много... Однако... (Лермонтов на минуту задумался)... дай-ка я попробую переделать этот стих.

Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался... Так прошло минут пять. Мы молчали. Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:

– Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук...

В другой раз я застал Лермонтова у г. Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание без его спроса «Казначейши» в «Современнике», издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого.

– Это чорт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! – говорил Лермонтов, размахивая книжечкою... – Это ни на что не похоже!

Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру.

Вероятно, этот номер «Современника» сохраняется у г. Краевского в воспоминание о поэте.

Я также встретился у г. Краевского с Лермонтовым в день его дуэли с сыном г. Баранта, находившимся тогда при французском посольстве в Петербурге... Лермонтов приехал после дуэли прямо к г. Краевскому и показывал нам свою царапину на руке. Они дрались на шпагах. Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский.

Белинский часто встречался у г. Краевского с Лермонтовым. Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделялся шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение.

– Сомневаться в том, что Лермонтов умен, – говорил Белинский, – было бы довольно странно; но я ни разу не слышал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою.

И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, желая еще примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, страсть показать презрение к жизни, а иногда даже и задор бретера. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то по крайней мере – идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить.

Когда он сидел в Ордонанс-гаузе после дуэли с Барантом, Белинский навестил его; он провел с ним часа четыре глаз на глаз и от него прямо пришел ко мне.

Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову.

– Знаете ли, откуда я? – спросил Белинский.

– Откуда?

– Я был в Ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!! Вы знаете мою

светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился, по обыкновению. Думаю себе; ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женить, он меня... Что еще связывает нас немного – так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер-Скотте... «Я не люблю Вальтер-Скотта, – сказал мне Лермонтов, – в нем мало поэзии. Он сух», – и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него – и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер-Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер – Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом – и что удивило меня – даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, – я уверен в этом...

В материалах для биографии, во 2-й части сочинений Лермонтова, г. Дудышкин говорит:

«В 1840 году, когда Лермонтов сидел уже под арестом за дуэль, он познакомился с Белинским. Белинский навестил его, и с тех пор дружеские, отношения их не прерывались».

Это несправедливо. Белинский после возвращения Лермонтова с Кавказа, зимою 1841 года, несколько раз виделся с ним у г. Краевского и у Одоевского, но между ними не только не было никаких дружеских отношений, а и серьезный разговор уже не возобновлялся более...

Странные и забавные отзывы слышатся до сих пор о Лермонтове. «Что касается его таланта, – рассуждают так, – об этом и говорить нечего, но он был пустой человек, и притом недоброго сердца».

И вслед за тем приводятся обыкновенно доказательства этого – различные анекдоты о нем во время пребывания его в юнкерской школе и гусарском полку.

Как же соединить эти два понятия о Лермонтове-человеке и о Лермонтове-писателе?

Как писатель он поражает прежде всего умом смелым, тонким и пытливым: его мирозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина – в этом почти все согласны. Он дал нам такие произведения, которые обнаруживали в нем громадные задатки для будущего. Он не мог обмануть надежд, возбужденных им, и если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое место в истории русской литературы... Отчего же большинству своих знакомых он казался пустым и чуть не дюжинным человеком, да еще с злым сердцем? С первого раза это кажется странным.

Но это большинство его знакомых состояло или из людей светских, смотрящих на все с легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрения, или из тех мелкоплавающих мудрецов-моралистов, которые схватывают только одни внешние явления и по этим внешним явлениям и поступкам произносят о человеке решительные и окончательные приговоры.

Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его, и не мог серьезно относиться к такого рода людям. Ему, кажется, были особенно досадны последние – эти тупые мудрецы, важничающие своею дельностью и рассудочностью и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение (это очень понятно) казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением. Он не отыскивал людей равных себе по уму и по мысли вне своего круга. Натура его была слишком горда для этого, он был весь глубоко сосредоточен в самом себе и не нуждался в посторонней опоре.

Конечно, отчасти предрассудки среды, в которой Лермонтов вырос и воспитывался, отчасти увлечения молодости и истекавшее отсюда его желание эффектно драпироваться в байроновский плащ неприятно действовали на многих действительно серьезных людей и придавали Лермонтову неприятный, неестественный колорит. Но можно ли строго судить за это Лермонтова?.. Он умер еще так молод. Смерть прекратила его деятельность в то время, когда в нем совершалась сильная внутренняя борьба с самим собою, из которой он, вероятно, вышел бы победителем и вынес бы простоту в обращении с людьми, твердые и прочные убеждения...

Появление Лермонтова в первых книжках «Отечественных записок», без сомнения, много способствовало успеху журнала; но без критики, как бы ни был блистателен его беллетристический отдел, журнал не мог итти. Г. Краевский тайно принимал меры, как я сказал, обеспечить себя относительно этого предмета.

В начале 1839 года я, по некоторым обстоятельствам, прожил у г. Краевского несколько дней... Раз утром, это было, если не ошибаюсь, в конце февраля месяца, в квартире г. Краевского послышался сильный звонок... Г. Краевский вышел в залу, чтобы посмотреть, кто звонит. Он заглянул в переднюю, вдруг бросился туда и в одно мгновение очутился в объятиях человека, только что освободившегося от шубы, с радостным криком:

– Василий Степаныч! Любезнейший Василий Степаныч – наконец-то!

Это был Межевич, давно ожидаемый критик, выписанный г. Краевским из Москвы... Межевич был старый московский знакомый г. Краевского. Он был, кажется, учителем в том пансионе, который содержала мать г. Краевского. Межевич печатал в «Телескопе» какие-то статейки по части теории словесности, очень нравившиеся многим. Г. Краевский, вероятно, заключил по этим статейкам, что Межевич должен иметь критическое дарование. Они вошли в залу рука об руку. Г. Краевский представил нас друг другу. Межевич был небольшого роста, белокур, с незначительными чертами, с мутными подслеповатыми глазами и в очках, которые он поправлял беспрестанно. В манерах его было что-то нерешительное и даже робкое, говорил он не совсем складно о самых обыкновенных предметах. В его движениях, словах, взглядах была такая неуверенность в самом себе, которая даже возбуждала сострадание. Межевич имел сердце мягкое, расплывавшееся, характер совершенно слабый и мелкий. Он чувствовал боязнь к уму, к убеждениям, ко всякой моральной силе и впоследствии почти тайком ускользнул из редакции «Отечественных записок», сошелся с Булгариным, начал писать статейки в «Пчелу», вдался в мелкую литературу и стал во главе ее в «Репертуаре» и, наконец, добился редакторства «Полицейских ведомостей»... В этом последнем приюте он нравственно упал с каждым днем, сдружился с каким-то г. Смирновским, сочинявшим безграмотные статьи лакейским слогом, и дошел до гимнов кондитеру Излеру, который открыл увеселительное заведение на «Минеральных водах»...

Вот каков был выбор г. Краевского, вот кому вверял он критический отдел своего журнала, вот кого предпочел он Белинскому!

Я был свидетелем приготовления Межевича к критическим дебютам в «Отечественных записках».

Мы писали с ним в одной комнате на квартире г. Краевского: он – разбор какой-то книжки, я – конец повести «Дочь чиновного человека» для 4 No «Отечественных записок».

Межевичу, кажется, нелегко доставались его критические статейки; он морщился, грыз перо, поправлял очки, прохаживался в размышлении по комнате, тер себе лоб, выжимал после этого из себя несколько строчек и снова начинал мучиться.

На процедуру его писания было смотреть тяжело. Надежды, возложенные г. Краевским на Межевича, должны были рухнуть очень скоро. Но я не буду забегать вперед...

Петербургская литература и журналистика, как я замечал уже, по мере моего сближения с нею, теряла для меня ту прелесть, в которой представлялась мне некогда издаലെка. Я видел, толкаясь за литературными кулисами, какие мелкие человеческие страстишки – самолюбие, корыстолюбие, зависть – двигали теми, которых я некогда считал за полубогов... Статьи Белинского в «Телескопе», в «Молве», повести Гоголя в его «Миргороде», стихотворения Лермонтова начинали несколько расширять мой горизонт, они повеяли на меня новой жизнью, заставляли биться сердце предчувствием чего-то лучшего. Статьи Белинского начинали окончательно колебать мою тупую веру в литературные авторитеты и мой раболепный страх перед ними. Я уже иногда задумывался над такими явлениями, которые прежде не возбуждали во мне ни малейшей думы; начинал пристальнее вглядываться в лица и в окружавшую меня действительность; сомнение несколько начинало тревожить меня, и мне уже как-то не хотелось принимать на веру и безусловно разные жизненные факты, которым я привык подчиняться с детства, вследствие домашней и школьной рутины. Но все эти признаки пробуждающегося сознания еще проявлялись во мне очень бледно и слабо...

Мысль, что искусство должно служить самому себе, что оно составляет отдельный, независимый свой мир, что чем художник безучастнее в своих произведениях или чем он объективнее, как выражались тогда, тем выше – эта мысль была самою рельефною и господствующею в литературе тридцатых годов. Пушкин развивал ее в своих звучных, гармонических стихах и довел ее до вопиющего эгоизма в своем стихотворении «Поэт и чернь», которое все мы декламировали с восторгом и считали чуть ли не лучшим из его лирических стихотворений. Все замечательные литературные деятели тогдашнего времени вслед за Пушкиным и кипевшая около них молодежь были ревностными, горячими защитниками искусства для искусства.

В последние годы жизни Пушкина, и еще резче после его смерти, Кукольник, принадлежавший также к поклонникам этой теории, проповедывал, как мы видели, еще о том, что истинное искусство не должно обращать внимания на обыденную, современную, пошлую жизнь, что оно должно парить высоко и изображать только героические, исторические и артистические личности. Отсюда эти длинные и скучнейшие драмы с художниками, холодные внутри, как лед, но с клокочущими на поверхности страстями, огромных размеров картины с эффектными освещенными, – и чем длиннее и скучнее была драма, чем больше холст, на котором была написана картина, тем более удивлялись поэту или художнику. Любимыми темами не только для драм, но и для повестей сделались артисты. Кукольник в своих пятиактных драмах, Полевой в своих многотомных романах представляли различных артистов и художников в апофеозе. Кукольник, кроме того, еще пустил в ход патриотические драмы с трескучими фразами, в которых немцев выбрасывали из окон при диких криках и рукоплесканиях райка, и развивал этими произведениями нелепую самоуверенность, которая впоследствии стоила нам так дорого, что русские могут весь мир закидать одними шапками. Полевой соперничал с ним в таком патриотизме и еще придавал ему пошлый, сантиментальный колорит. Оба они наперерыв друг у друга пожинали сценические лавры... Все это было, однако, до такой степени лицемерно и фальшиво, что не могло долго держаться...

Петербургская журналистика представляла также не совсем привлекательное зрелище. Полевой являлся уже совершенно бесцветным и выдохшимся в «Сыне отечества», с появлением каждого номера теряя свой нравственный кредит. О Сенковском я говорил. О Булгарине и других журналистах говорить нечего. Второстепенные петербургские литераторы писали только так, по рутине и для своего удовольствия, подражая первостепенным и не заботясь ни о каких вопросах и теориях, даже о теории искусства для искусства.

Тоска и апатия невольно овладевала в такой среде... Ни живого слова, ни живого звука при литературных сходках: или одни и те же фразы об искусстве, которые всем прискучили и повторялись уже вяло, или литературные сплетни, выведившие литераторов из апатии и оживлявшие их на минуту.

Даже имя Пушкина уже не так электризовало меня, как прежде. Его русские сказки и Анджело неприятно подействовали на всех его многочисленных и восторженных поклонников; его «Современник» был довольно холодно принят и в литературе и в публике.^[5] Большинство

говорило, что поэту не следовало пускаться в журналистику, что это не его дело. Начинали поговаривать, но еще робко, что Пушкин стареет, останавливается, что его принципы и воззрения обнаруживают недоброжелательство к новому движению, к новым идеям, которые проникали к нам из Европы, медленно, но все-таки проникали, возбуждая горячее сочувствие в молодом поколении... И несмотря на то, что в художественном отношении Пушкин достигал совершенства с каждым новым своим произведением, молодое поколение начинало заметно охлаждаться к поэту, и только неожиданная и трагическая смерть его возвратила ему общее горячее сочувствие...

* * *

В обществе неопределенно и смутно уже чувствовалась потребность нового слова, и обнаруживалось желание, чтобы литература снизошла с своих художественных изолированных высот к действительной жизни и приняла бы хоть какое-нибудь участие в общественных интересах. Художники и герои с риторическими фразами всем страшно прискучили. Нам хотелось видеть человека, а в особенности русского человека. И в эту минуту вдруг является Гоголь, огромный талант которого первый угадывает Пушкин своим художественным чутьем и которого уже совсем не понимает Полевой, на которого еще все смотрели в то время как на передового человека.

«Ревизор» Гоголя имел успех колоссальный, но в первые минуты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии. Кукольник после представления «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая, таланта в Гоголе, замечал: «а все-таки это фарс, недостойный искусства».

Вслед за Гоголем появляется Лермонтов. Белинский своими резкими и смелыми критическими статьями приводит в негодование литературных аристократов и всех отсталых и отживающих литераторов и возбуждает горячую симпатию в новом поколении.

Новый, свежий дух уже веет в литературе...

* * *

Кольцов, как я говорил, возбудил во мне непреодолимое желание познакомиться с Белинским, с которым я уже был в переписке, и с его друзьями.

Случай к этому скоро представился... По некоторым домашним обстоятельствам я должен был уехать на время из Петербурга...

Я написал письмо к Белинскому, что скоро надеюсь его видеть... и с трепетным наслаждением приготавливался к минуте этого свидания...

Я выехал из Петербурга 9 апреля 1839 года...

В Москве, кроме Белинского, ожидало меня знакомство с Грановским, Аксаковым, Хомяковым, Кудрявцевым, Коршем (Е. Ф.), Катковым, Бакуниным, Боткиным (В. П.), Ключниковым (печатавшим свои стихотворения под буквою? в «Наблюдателе» Белинского и потом в «Отечественных записках»)... Я вступал в новую среду, не имевшую ничего общего с описанною мною... Этой среде я обязан всем. В ней начинала пробуждаться и развиваться моя мысль, в ней я получил сознание человеческого достоинства и приобрел те убеждения, которые осмыслили мою жизнь... Белинскому и его друзьям, кроме моего развития, я обязан самыми лучшими, самыми счастливыми минутами в моей жизни...

Но об них я буду говорить во второй части Моих «Литературных воспоминаний»...

Я подхожу к времени уже слишком близкому к нам и потому продолжать мои «Воспоминания» в последовательном порядке не нахожу возможным. Из второй части я

представлю, впрочем, несколько отрывков о Грановском, Белинском, Гоголе, Аксаковых и Загоскине...

Примечания

5. Одна только статья Гоголя в 1 No «Современника»: «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» наделала большого шума в литературе и произвела очень благоприятное впечатление на публику.